**БУНИН И РУССКИЕ КАИНЫ**

**Иван Бунин. Великий дурман. Неизвестные страницы. Составление, вступительная статья, примечания**

**О. Василевской. М. «Совершенно секретно». 1997. 352 стр.**

Долго же возвращается к нам Бунин после десятилетий запрета. Еще и сейчас

идет, еще не пришел полностью.

В оттепельный период, вслед за робкими журнальными публикациями отдельных рассказов, — невероятное, фантастическое событие: «огоньковский» пятитомник 1956 года. («А этот Бунин неплохо пишет», — сказал мне, помню, заведующий кафедрой марксистской философии провинциального вуза, где я тогда работал.) Потом еще два более полных собрания сочинений (с «Жизнью Арсеньева»), но оба — девятитомное (1965 — 1967) и шеститомное (1987 — 1988) — с жалкими крохами публицистики и в разной степени урезанными воспоминаниями.

В 60 — 70-е годы о публикации, скажем, «Окаянных дней» нельзя было и подумать. Во вступительной статье к девятитомнику А. Твардовский осуждал эту книгу, в которой «язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем почти иссушающую злобу»1. С купюрами «Окаянные дни» были напечатаны в нескольких журналах в конце 80-х, а полностью опубликованы в 1990-м одновременно в Москве и Риге тиражами соответственно в 400 и 100 тысяч экземпляров.

Вот что появилось до настоящего времени. Бунинская же публицистика долгих лет эмиграции, рассеянная в зарубежных русскоязычных журналах и газетах (парижские «Общее дело», «Возрождение», берлинский «Руль», нью-йоркское «Утро» и др.), практически неизвестна современному русскому читателю. Исключение составляют разве что несколько эпизодически напечатанных материалов (см., например, «Под серпом и молотом» — приложение к изданным в Риге «Окаянным дням»). «Великий дурман» в значительной степени восполняет этот пробел. Потому в значительной только степени, а не полностью, что наверняка в зарубежной периодике 20 — 30-х годов сохранились еще не обнаруженные статьи и заметки Бунина. Ждут открытия для массового читателя и различные материалы его архива2.

Название сборника воспроизводит название лекции, которая дважды (сентябрь 1919-го) была прочитана Буниным в Одесском университете в тот короткий период, когда Добровольческая армия освободила город от большевиков. Лекция длилась три часа, и публикуемый в сборнике отрывок составляет незначительную ее часть, вероятно обработанную Буниным для одесской газеты «Южное слово».

В книге «Великий дурман» собраны материалы разного рода: политическая публицистика, ответы на вопросы анкет, выступления на различных встречах и торжествах (например, речь на банкете в честь А. Деникина), литературная критика. Некоторые из сюжетов в переработанном виде вошли потом в «Окаянные дни» и другие книги, что не лишает первоначальные варианты самостоятельного значения. Самых высоких похвал заслуживает научный аппарат издания — интересная вступительная статья, подробный комментарий, обширный (около 500 позиций) указатель имен.

Определяя свой статус по отношению к покинутой родине, Бунин настаивал на термине «эмигрант». На одной из встреч соотечественников, оставивших Россию, он говорил: «Мы эмигранты — слово «йmigrer» к нам подходит как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди добровольно покинувшие родину... мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину».

Эмигрант или изгнанник — так ли уж это важно? Бердяев осенью 1922-го был потрясен мыслью о неотвратимой высылке из России: «Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска. Я не хотел эмигрировать...» (из «Самопознания»). Густав Шпет, включенный, как и Бердяев, в список изгнанников, сумел-таки «по блату» (вероятно, используя ходатайство Луначарского) уклониться от насильственной депортации. Но в 1935-м, обвиненный в составлении «фашизированного немецко-русского словаря», он был арестован и выслан в Енисейск; оттуда (опять-таки по ходатайству Качалова, Книппер-Чеховой, Щусева и других) ему удалось перебраться в Томск, где и застал его Год Больших Расстрелов. Было бы кощунственно сравнивать с прагматической точки зрения «благополучные» судьбы Бунина, увенчанного в эмиграции наивысшей литературной премией, или Бердяева, создавшего во Франции лучшие свои работы, или профессора Гарвардского университета Питирима Сорокина, признанного крупнейшим социологом столетия, с расстрельными финалами того же Шпета или Флоренского, с концлагерной смертью Карсавина (вернувшегося из изгнания в Литву, вскоре подвергшуюся советской оккупации), с судьбами тысяч других, как говорил Пастернак, «замученных живьем». «Гигантский кровавый балаган» («Великий дурман») гулял по России, и о «расчетливом» выборе в годы Гражданской войны не приходится говорить.

Казалось бы, столь же кощунственно в данном историческом контексте разграничивать изгнание и эмиграцию — степень вынужденности здесь слабо различима. И все же смысловой акцент: эмигрант, а не изгнанник — для Бунина имел особое содержание. Оставшиеся или хотя бы стремившиеся остаться должны были как минимум быть готовы к компромиссу. Компромисс бывает разный. Бывает полное подчинение. Бывает подсюсюкивание власти, рано или поздно также завершающееся сдачей и гибелью. Но бывает и просто молчание, там уж поди разбери, какое оно (по Галичу) — «против» или «за». Даже на компромисс молчания человек типа, лучше сказать — породы, Бунина пойти никак не мог. Его эмиграция (независимо от того немаловажного, разумеется, обстоятельства, что красные части уже входили в Одессу) была принципиальным решением: никогда не смогу молчать, никогда не смогу не бороться с этим.

Потому он так и не вернулся в Россию. Хорошо известно, как в 1936-м в парижском кафе А. Н. Толстой говорил Бунину: «В Москве тебя с колоколами бы встретили... Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля...» Но, пожалуй, еще более значителен эпизод, связанный с визитом Е. П. Пешковой в ноябре 1928 года. Бунин на предложенную встречу в Канне не поехал, поехала Вера Николаевна. Она была как бы полномочным представителем Ивана Алексеевича в состоявшейся беседе. Как и другие визитеры, Пешкова намекала на желательность возвращения Бунина на родину. И вот как закончился разговор (из дневника В. Н. Муромцевой-Буниной):

«Она выразила сожаление, что Ян (так жена звала Ивана Алексеевича. — *В. С.*) не в России теперь. Я сказала, что он большевизм не переносит... что в Одессе, где мы ощутили его всей кожей, он чуть не заболел от одного вида большевиков.

Потом она стала расспрашивать, правда ли, что он писал такие злобные статьи?

— Это не злоба. Это пафос. Мы белые и никогда не изменим тем, кто пал в борьбе с большевиками...

— Но Россия выше всего.

— Нет, кое-что есть выше России, — сказала я, когда поезд уже тронулся».

Обильно представленная в «Великом дурмане» публицистика затрагивает разные темы, но чаще всего мысль Бунина возвращается к вопросу о причинах этого. В России, писал он, «случилось то, чему нет имени на человеческом языке, но что *должно было случиться* (курсив в бунинских цитатах здесь и далее мой. — *В. С.*), повторилось уже не раз бывалое, только в небывалых еще размерах». Неизбежность большевистского переворота с последующей кровавой вакханалией и абсурдом выводилась Буниным не только из исторических судеб страны, но в значительной степени из того, что нынче принято называть человеческим фактором. Он всегда был далек от идеализации народа — достаточно вспомнить не только «Деревню» или «Суходол», но хотя бы такой простой и страшный рассказ, как «Ночной разговор». В публицистике, и это понятно, он еще более прям и беспощаден. Эти «антинародные» мотивы, достаточно частые в «Окаянных днях», многократно и жестко звучат в различных статьях. Одна из них, с характерно ироническим названием «Самогонка и шампанское», проникнута по-бунински желчной критикой всех, кто попугайски бездумно талдычит слово «народ» либо же эксплуатирует его в различных политических маркировках: «Дело Народа», «Власть Народа», «Воля Народа» и т. п. Между тем, по Бунину, в русском народе очень распространены были разбойнички — «муромские, брынские, саратовские и прочая, прочая, бегуны, шатуны, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, на сто тысяч коих — один святой... *Нов ли большевизм? Стар, как Россия»*.

Коль скоро уж затронута тема «антинародности» Бунина, я хотел бы поговорить об этом подробнее. Так, в частности, к числу «разбойничков» безоговорочно отнесены те, кого у нас принято считать народными героями, — Пугачев и Разин. Они не менее десяти раз упоминаются в разных контекстах, и всякий раз с характеристиками «прирожденный преступник», «прирожденный убийца» и т. п. Каких-нибудь не то что пятнадцать, а и десять лет назад это можно было списать на счет пресловутой личной желчности Бунина и снисходительно простить ему эмигрантскую озлобленность. Вколоченные школой и вузом представления как-то не располагали нас к тому, чтобы за народными «освободительными движениями» увидеть еще и нечто страшное. Ну и что же, что кровь, — ведь классовая же борьба, ведь крестьянские же войны, ведь насилие — повивальная же бабка... А гипноз романтизированных литературных и песенных образов Пугачева и Разина? А шаляпинским басом воспетый утес с «думами Степана»? А Есенин, а Шукшин? А Евтушенко, включивший «Стеньку» в известное стихотворение, срифмовавший его с русскими пятистенками?

Однако же, скажут нам, вот Пушкин — ведь кроме «Истории Пугачева» он оставил романтизированного Пугачева из «Капитанской дочки». Но так ли уж романтизирован этот образ, если учесть, что читатель воспринимает события глазами облагодетельствованного Пугачевым поручика Гринева? На это тонкое обстоятельство, обусловленное системой субъектно-объектных отношений повести, кстати сказать, обратила внимание Марина Цветаева. Говоря о двух разных Пугачевых у Пушкина, она писала («Пушкин и Пугачев»): «Весь Пугачев «Капитанской дочки» взят и дан в *исключительном* для Пугачева случае — добра, в *исключительном* — любви... Причем это *ты,* по свойству человеческой природы и гениальности авторского внушения, непременно сам читатель. (Всех казнил, а *меня* помиловал, обобрал, а *меня* пожаловал.)»3

И как не мог Пушкин идеализировать то самое — «бессмысленное и беспощадное», — не мог поддаться хотя бы малейшим интеллигентским иллюзиям на сей счет и человек породы (подчеркну это снова) Бунина.

И невольно задумаешься (а под влиянием «Великого дурмана» еще и еще раз): что же это за национальное наваждение, что за безумие? И что за народ, до сих пор почти ритуально поющий в своих застольях знаменитую песню, в которой героизируется убийство в «набежавшей волне» беззащитной женщины, перед тем наверняка пьяно изнасилованной? (Кажется, наконец-то перестали исполнять эту песню в официальных концертах — близкую по настрою тем, кто внимал ей из правительственных лож.)

Что ж, из песни слова не выкинешь, особенно же из русской. Такой уж Бунин писатель, такой уж человек, что, говоря о нем, никуда не уйдешь от этой проклятой оппозиции: народность — антинародность, патриотизм — антипатриотизм.

С глухими и слепыми в восприятии художественных текстов невозможно обсуждать вопрос, любил ли Бунин — со всеми своими действительными крайностями, со всем чего-то там «недопониманием», — любил ли он Россию. Патриотизм, господа и товарищи, сложная в своем составе вещь, как и вообще любовь: ей никак нельзя без ненависти, и нередко — к объекту же любви. Вот вы ругали ныне покойного Андрея Синявского за «суку», адресованную России. Синявского вы горазды ругать (да еще и с его абрам-терцевским псевдонимным зигзагом), а ну-ка вот — Бунина. Не угодно ли почитать в его дневнике (запись от 6 августа 1921 года): «Как надоела всему миру своими гнусностями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая *сволочь* Русь!»

И тот же Бунин (и в то же примерно время) одернул Герберта Уэллса, без особого, скажем так, почтения относившегося к России. Речь идет о серии очерков, которые легли в основу известной книги «Россия во мгле». Уэллс не был тем простофилей, которого в образе безымянного «иностранного писателя» показал Погодин в ныне уже забытых «Кремлевских курантах». Реальный Уэллс понимал многое из того, что происходило в России, и старался ей помочь. Но его слегка высокомерное отношение к стране, а также оправдание большевистского правительства, якобы единственно способного справиться с анархией, побудило Бунина выступить в защиту народа «пусть темного, зыбкого, но все же *великого*, давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше Англии».

Что же это — противоречие? Отнюдь нет, конечно. В общем-то, все давно известно: то сердце не научится любить, которое... А все же хотелось найти еще какую-то формулу этого «антипатриотического патриотизма», этой «антинародной народности». Формулу, примерно равную той, что восхитила солженицынского Нержина в «Круге первом», когда полуслепой Спиридон Егоров сказал ему: «Волкодав — прав, а людоед — нет» (это ведь тоже о народе — о ком же еще). В «Великом дурмане» читаем: «...молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне... святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее».

Эти слова были сказаны в феврале 1924-го на встрече «Миссия русской эмиграции». Сколько же воды утекло с тех пор. И сколько крови русских авелей было пролито русскими каинами.

И бередит душу мысль: изменилась ли с тех пор обозначенная Буниным — пусть слишком жестко, пусть с перегибом — пропорция между «разбойничками» и трудягами-созидателями, между каинами и авелями? и если изменилась, то в какую сторону?

Не в пользу ли первых?

**Виталий СВИНЦОВ.**

**Опубликовано в журнале:** [**«Новый Мир» 1997, №12**](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1997/12/) ***РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ***

**Виталий Свинцов Бунин и русские каины**

